

Он щурился солнцу звонкому и яркому; пунцовые цветы рододендронов горели на зелёной ляпислазури. «Гера! Гера!» - Путаясь в одеждах, они бежали к кораблям. Драконами проносились «миражи», серо-зелёные птеродактили, они извергали семя где-то там, на севере, зачиная смерть глухими раскатами взрывов, а затем поползли танки; их хоботы вздрагивали и были ещё горячи от стрельбы, но они щерились весёлой похотью войны. Палестинцы отошли без боя, и пехоте почти не пришлось стрелять. Она шла, весёлая и уставшая от жары, обходя труп в сирийской форме: он вздулся, и от него уже несло сладковатым запахом.

Деревня была их. Уставшая от любви, войны, истомленная взрывами и пальбой, она тихо дремала в истоме, раскинув ноги улиц между аметистовыми дымчатыми холмами.

Покорённая и покорная, она не вызывала желания, а потому они не трогали её. Но вдруг где-то в самом центре, где их власть была безраздельной, закудаhtало зло и отчаянно. Послышались крики, стук подошв по камням, гортанный иврит, и танки разворачивались, урча моторами. В них просыпалось желание. «Она не моя», - говорит мне Ерошка, закусив губу и тоскливо глядя куда-то в сторону. Он - самурай, который пережил своего сеньора, он расстёгивает панцирь и ищет подбрюшину, рука с холодным клинком дрожит. Его тело дрожит, его сотрясают рыдания позора и ужаса.

Я сочувствую ему! Американцы, уж я-то их знаю - это сильный и жестокий враг, его нельзя просто победить, одним ударом захватив цитадель или столицу. Надо разрушить главные города и перебить всех мужчин, но они не смиряются и уйдут в горы, в колючий непроходимый кустарник Ливийских холмов, где они знают каждую тропку, каждый камень. Они уйдут из долин, но горе тем, кто поверит им: война должна продолжаться.

Но обнажённые воины начищали красную бронзу поножей, гривастых шлемов и щитов; они расчёсывали длинные волосы свободных и, смеясь, готовились к бранному пиршеству.

Бурые пятна расползлись по одежде; постанывая, всхлипывая, ползли раненые с перебитыми ногами. Золочёное оружие кипело в лучах южного солнца;

копья топорщились в яростном сладострастье, синие и зелёные одежды стлались по склонам цветастым ковром; чёрные бороды курчавились, истекая потом и благовониями. Тучи стрел звенели в воздухе.

Он был в горах Ливана прошлым летом. Ослепительно светило солнце, чётко прочерчивали небо линии гор, и гортанный кузнечик стрекотал в кустах. Что-то взвизгнуло, ударившись о камень. Он вскинул автомат, он сделал это инстинктивно, не думая, металлический фаллос изверг семя-свинец, закованный в металл, и зачал. Тело вывалилось из кустов, оно было в грязной рубаше, потёртых джинсах и кедах на босу ногу. Густые волосы падали на лоб, почти не было крови. Он стоял над ним, опустив ствол автомата; серый, почти невидимый дымок шёл из него. Он знал, что палестинцы ненавидят его сильнее, чем евреев, он был другом, продавшимся арабам.

Она билась и стонала, руки, запутавшиеся в густых волосах Авессалома, молили о пощаде, но он продолжал наносить удары. Стальной клинок с резной рукояткой слоновой кости входил в извивающееся тело, пока оно не затихло. Он вытер пот тыльной стороной ладони, а лезвие о полу одежды и посмотрел на неё.

Он вышел из домика (он жил в маленьком домике общежития на горе Скопус и был студентом еврейского университета) и прищурился от яркого солнца. Оно было ослепительно звонким: жизнь и история на востоке не знают северных полутонов.

«Она не моя», - говорил он, закусив губу, а затем отводил меня в сторону.

Удар копья в круглый щит из бычьей кожи и металлических блях спас его, но копьё Франка выбило его из седла, он потерял сознание, а когда открыл глаза, то увидел Франка, стоящим над собой. Длинные белокурые волосы падали почти до плеч, он не стриг их, несмотря на жару. Они лоснились от пота, и лицо его тоже блестело, глаза блстели, а лицо искривилось в улыбке, радостной и злой. Он хотел пошевелить руками, но не смог и понял, что связан. Он застонал в безнадёжной тоске. Почему он не убил его?

Он привык к унижению (он полз по узорчатому ковру к трону властителя; его тело таяло в лучах самоуничужения), но от рук Франка, неверного гяура, пришедшего откуда-то с севера, с неведомой земли, он хотел одного. Красное вываренное лицо Франка блестело от пота, он тяжело дышал. Плащ, брошенный на доспехи, не защищал его от палящих лучей солнца, сталь брони становилась нестерпимо горячей, этот жар чувствовался даже сквозь одежду. Франк на коне улыбался, улыбался его слуга, в короткой кожаной куртке, с коротким мечом на поясе - это он связал его.

Он хотел призвать бога «Аллах акбар» - тысячи глоток исторгали в небеса этот крик, и руки крепче сжимали меч, но сейчас он услышал сдавленный стон. Его мутило от боли, слабости и жажды, солнце светило прямо в глаза. Он повернул лицо к земле и вдохнул горячую пыль земли. Он затрясся в кашле.

Красные орхидеи горели пунцовым огнём любви и целовали синее небо; шелудивые кошки сжимали в зубах чахоточных котят, волоча их для будущей смерти; горящий золотом купол омарового яйца обещал спасение и пот молитвы. «Она не моя, - говорил он, глядя в сторону, - но ты не думай, ты ничего не думай». И я ничего не думал, и он, взяв меня за руку (его ладонь была сильной и жёсткой ладонью солдата) волочил меня в свою комнату. Прохладные стены и низкий топчан, приземистое гостеприимство, покрытое пледом. Я усаживаюсь на плед, и он, порывшись на полке, усаживается со мной.

Он открывает фотоальбом: Велизарий встал с паперти, ему не нужен медяк от старого солдата (он унижен Давидом уже почти двести лет, душа художника отдавалась всем легко и беззаботно: умирающий Марат перепрыгивает Сен Бернар на вздыбленном бронетранспортёре). Он закрывает глаза, трещины кожи у глаз, обвисший кадык (время не щадит никого), вспоминает густые ряды готской пехоты. Он разбил их всех.

Страницы переворачиваются торопливо и испуганно. «Ты мне веришь?».

Конечно, я верю, как не верить мне на святой земле? Я верю в невозможное. Может быть, еврейский социализм выстоит, может быть, даже окрепнет вопреки всяким пророчествам американизированных японцев, продавших самурайский клич и вспарывание живота. Назло всем законам, история пойдёт вспять, убегут в нити трёхцветные знамёна, съёжится в красный неродившийся кумач лежащий под гильотиной адвокат с раздробленной челюстью, гунны попятятся на восток, арка Тита уйдёт в землю. И в этом попятном беге история остановится у ребристых пирамид, и тощий старик с развевающейся бородой укажет перстами потной толпе следовать путями господними, повиноваться богу, богу, которого нет. И, повинувшись этому персту, толпа ринется вперёд, без трёхцветных знамен и деклараций, а с красным полотнищем, дабы истребить всех, кто стоит на её пути: детей, овец и солдат. «Ты веришь мне?» - Он заискивающе смотрит мне в глаза и тычет в фотографии - трофей фаллических битв, услада самолюбия и памяти. Ряды лиц, грудей и бёдер.

Он водил её по Иерусалимским забегаловкам; калёной доблестью Квин Фабий, играя мраморными желваками терпения, изводил импульсивного африканца. «Это требовало времени». Горячий взгляд победителя. Он посыпал землю солью и оставлял её (не верьте в сципионовое великодушие) будущему: вандалам, пиратам, сарацинам. Who cares? Женские трусики валялись под стулом.

«Видишь эту? Я познакомился с ней в баре, в Тель-Авиве. Зря, что ты не бываешь в Тель-Авиве, это такой красивый город, европейский город, не то, что Иерусалим - здесь иногда бывает так тоскливо. Она говорила, что она ещё девочка и из религиозной семьи».

«Солдаты! Не помышляйте, что сражаетесь за Петра, но за Россию, ему вверенную». Штыковая атака, свирепая, яростная схватка, пробитый пулей кивер: «Она действительно была девочкой. Ты веришь мне?».

Конечно, верю. Разве был бы я на святой земле, если бы не верил в невозможное, в то, что в долине, среди красных, иссушенных солнцем холмов, она спросит: есть ли ещё надежда у этих костей? И она (почти детски улыбающиеся личико на фотографии) ответит: «Ты знаешь, господь». И он ответит: «Да, я подыму эти кости, я одену их плотью и жилами. И ты будешь моим народом, а я твоим богом». И так будет - жёлтые, крошащиеся кости с тихим и страшным шелестом выползут из могил (это будет тихий шелест Апокалипсиса) и поползут, stalkиваясь и теснясь в поисках друзей, родных и близких, с кем жили в недолгий человеческий век. И берцовая кость найдёт тазовую, и шейный позвонок другой шейный позвонок. А затем они побелеют молодой свежестью, и красное мясо покроет их, и они будут стоять ободранными трупами, но скоро белая, ласковая кожа оденет их, и заблестят глаза. И они будут сильными и молодыми, их мышцы будут лосниться силой и потом; они закричат: «Слушай, Израиль!», красное полотнище затрепещет над их колоннами, и они двинутся к Сиону, чтобы лев играл с ягнёнком, а ребенок с аспиdom, и будет «новая земля и новое небо».

«Ты не думай, я хочу жениться, детей хочу, у меня вот родители прожили тридцать лет. Но очень трудно найти хорошего человека. Иногда мне кажется, что она любит меня ... но она не моя. Хочешь кофе?». Он подходит к плитке, что-то химичит над голубыми горелками, а затем бережно ставит на столик, предварительно придвинув его к топчану, маленькие дымящиеся чашки. «Сготовлено по особым рецептам, турецкий, настоящий».

«Кофе должен быть чёрен, как ад, и чист, как девственница». Гудоновский мрамор язвит из Бастилии небытия. Были ли у меня девственницы? Это вопрос скорее не физиологический, а феноменологический - мне кажется, что были, но образ не доказательство: девственность как вещь в себе. Я оставляю исследование этой темы колченого-мускулистым феминисткам из престижных Калифорнийских университетов, почти в каждом из них есть Department of Women Studies, и тема,

думаю, не оставлена юными, свежееиспечёнными Ph.D. афро-алеутских кровей. Мне ли соваться в этот калашный ряд со своим свиным рылом. Pig! Male chauvinist Pig! You are always looking at women as fuck and baby machine. ... На фонарь. «Ну, хорошо, вы меня повесите, но будет ли вам от этого светлее?».

Я внутренне съеживаюсь от сознания порочности и обречённо прихлёбываю кофе. «Ерошка» подавлен, и мне нужно утешить его. «Всё дело в феноменологии, - я ставлю чашечку на стол и начинаю прохаживаться перед «Ерошкой» мерным менторским шагом, - вот тебе кажется, ты её трахаешь, а ей кажется, что она тебя. Феноменология: образ и действительность».

Но Ерошка не хочет ничего знать про феноменологию, он, причмокивая, посасывает кофе и говорит, уставившись в цементный пол: «Я люблю её, я женюсь и поеду в Америку». Он пропал, Ерошка американизировался. Пожиратели сушёного картофеля и сексуально-кровавого экрана, где высококаблучный мускулистый ковбой «take love from behind», Вертеры в обыденной внеэкранный жизни, воркующие старички и старушки, взявшись за руки с ясными улыбками детей, святых и дегенератов доклёвывают остатки жизни на парковых скамейках. «Я женюсь и поеду в Америку», - он опорожняет чашку и поворачивает голову ко мне. Бедный, бедный «Ерошка». Мой лежковерный варвар, он верит, как многие из его сородичей по культуре, в Гудзон, Бродвей, приватизацию и лёгкость приступа. Ему мерещится в жаркой топке пустыни ближневосточной провинции, в дремучих лесах среди банд Алариха и Гензириха, среди едкого кизилового дыма монгольских степей густые заросли женских гениталий под готическими ажурными плетениями белья (брюнетки в белых, а блондинки в чёрных трусиках и чулках), шуршащая долларовая зелень храмовых сокровищниц, колесница триумфатора, влачимая рабами по широким бродвейским проспектам к форумам и колизеям. Он видит своих всадников, несущихся по их улицам. Они насилюют их женщин, услужливо спрыгнувших на панель со страниц глянцевого журналов, грабят дешёвые распродажи, запихивая видеотехнику в кожаные мешки, в то время, как его низкорослый, привыкший к невзгодам «Запорожец» лакает дармовой бензин из мичиганской стоянки.

Бедный, бедный Ерошка, он обречён на гибель. Его орды (по туристским, а то и вовсе без каких-либо виз) двинутся на Запад; будут в предчувствии тучных пажитей земли Гошен плотоядно бляеть стада и натужно, извергая газ и помёт, гудеть моторы. Степь загудит миллионами тел, содрогаясь от лошадиного топота.

Марий не встретит их у заснеженных Альпийских перевалов; выгнутые четырехугольники щитов не преградят путь в тёплую долину По. Она будет лежать на глянцевого обложке в нимбе обнажённых чресел и полуоткрытых в истоме губ. Воины в рогатых шлемах, потрясая боевыми фреями и волоча чемоданы, ринутся на неё, но боевые порядки бёдер расступятся, а затем сомкнутся. Не многим удастся уйти, избежать резни: маленький домик на зелёной лужайке - награда доблести и удачи. Но их будет немного, горстка, и иной удел большинства - высохшие кости удобряют долины Сены и Гудзона, Святого Лаврентия и Лимпомпо. И есть ли надежда у этих костей?

Я заклинаю Ерошку остаться в Социализме и пою песнь красному флагу, Леонтьеву и Шикельгруберу. Я говорю ему о величии рабовладения и феодализма, гордой культуры насилия над естеством. Я тычу перстом в ДнепроГЭС, Карнак и идеалистическую честность иудейских кибуц, они основаны бородачами-каханистами с Бронкса, уставшими от скучной предсказуемости банковского кредита. Я говорю ему, что социализм есть вера в светлое прошлое, и негоже от него отказываться за чечевичную похлебку эвклидова прогресса. Я доказываю ему, что только здесь, в тени великой социалистической государственности обретается смысл жизни, а женщины отдаются, а не берут. Я кричу ему на ухо, что нет бога кроме Проханова и Карема Раша, пророка его. Я – соловей, охрипший от собственного крика и скверного английского,

бедный еврейский соловей генштаба. Какого? Это не имеет значения. Главное, чтобы он действовал со стремительностью монгольской конницы и римской пехоты. Я говорю «Ерошке» про доблесть предков «ассасинов» и золотой кинжал убийц (он должен поразить им кооператоров, буржуев, пацифистов, демократов и длинноногих шлюх, расхаживающих по мировым столицам).

Но я знаю, что я обречён. Ерошка отметёт мои пророчества, злобные кликушества де Местра с партийной книжечкой у сердца; француз был верен до конца, даже тогда, когда, казалось, все рушилось. Хасбулатов бежал в Митаву, под защиту пруссаков, и все кричали о необратимости перестройки и непобедимости трёхгранных штыков первого консула. Ерошка не поверит мне и уедет.

Я встретил его через несколько лет у почерневших от городской суеты львов публичной библиотеки, на ступеньках, где плешивые бородачи и зачумлённые студентки в джинсовых юбках жуют бутерброды и тихо щебечут о своих делах. Он уехал не с той, которую я знал («Она сейчас в Вашингтоне, работает, кажется, в библиотеке Конгресса»), но с другой, тоже еврейкой, но иного пошиба.

Она была еврейкой, прибывшей в Иерусалим. Она ненавидела Израиль, фашистское государство, где расстреливают палестинских детей и угнетают друзское меньшинство.

«Я спешу, это совсем короткий перерыв на ланч. Давай встретимся с тобой после закрытия библиотеки и пойдём ко мне домой, угощу кофе. Ты помнишь наш кофе, тот самый, которым я угощал тебя в Иерусалиме?».

Мы сидим у него в крошечной клетушке, погребальной камере многоквартирной пирамиды в центре какой-то «avenue» и прихлёбываем кофе. «Она была другой, совершенно другой, настоящей восточной женщиной, ты ни за что не поверишь, что она была американкой. Она висла на моей шее и не отпускала ни на шаг. Она билась и кричала, когда я уходил в «милиум». Меня послали на западный берег».

Мои глаза горят, я бегаю по клетушке, и душа жаждет простора, а тут узкий топчан, извлечённый из дешёвой барахолки плед. Сжатые губы, суровая эмигрантская бедность первоначального накопления. Два шага налево, два шага направо: конвой стреляет без предупреждения, и ты ударяешься лбом о плохо отштукатуренную стенку.

Мои глаза горят. Я вижу Мордехая, медным всадником взметнувшегося на горе Скопус и указывающего бронзовой рукой за Иордан: кибуц там будет заложен на зло арабскому соседу. Воля к власти, еврейская воля должна раздвинуть узкие, плотно сжатые бёдра погребальной камеры; она должна развалиться, пасть, и мёртвые неминуемо встанут в торжественный клин. «У нас уникальный исторический шанс. Такого не было со времен Титова. Союз разваливается, легионы уходят из провинции; арабы остались без прикрытия: молниеносный, стремительный блицкриг. Сокрушить Дамаск и подписать мир на барабане. Империя, еврейская империя, и железной пятой на шее покорённых племён». «Ерошка» разрезает серую питу и посыпает её каким-то зеленоватым порошком, привезённым из деревни. Он разрывает питу и засовывает её в рот: «Ты говоришь, как обыватель, израильский обыватель, правый обыватель».

Почему ты так безжалостен ко мне, «Ерошка»? Разве ты никогда не бывал в Иерусалиме? Там вдоль склонов храмовой горы жмутся могилы, крича о воскресении. Но теперь, когда социализм погиб, распалась империя, погиб и распался космос: звенья истории разлетелись, время и пространство скрутилось в дугу. Я знаю, что никогда не быть великому пространству и времени, ничья титаническая рука не разгладит его согнутые листья, не соберёт разбёганные куски, а поэтому я хочу немного: маленькой провинциальной уютенькой еврейской империи. Крошечное пространство касриловского космоса, движение, если уж не к коммунизму... и воскрешению во всемирно-историческом масштабе, то хотя бы к сионизму, маленькому национально-ограниченному пространственно-временному благолепию.

«Железной пятой, железной пятой», - ораторствую я, но быстро снижаю: «Ерошке» скучно слушать про империю, и он думает о своём. Он чавкает, пожирая питу и размышляя вслух: «Она говорила, что любила меня».

Она не любила «Ерошку», но ненавидела Израиль, фашистское, притеснительное государство, а поэтому, заботливо укутав его в леворадикальные пелёнки, вывезла за кордон, привесив к фаллосу свидетельство о браке. По приезде она подождала два года, дабы утрясти всё с эмигрантскими властями, а затем оставила его.

Я знаю: в глубине души он был благодарен ей за науку. Он был благодарен фукиямам и трёмстам дням, «Декларациям» и трёхцветным флагам. Они просветили его лучше моих проповедей. Он переведёт Де Местра на арабский и иврит, сплетёт придворный французский с пейсами, сурами и Торой и вместо «все люди рождены равными» закричит «Аллах акбар» или там «Барух ата», что, в сущности, одно и то же. Он хочет уехать обратно. «С сим победим!».

Он уедет, отряхнув нью-йоркский прах (изъяв предварительно из банка накопленные капиталы в зелёно-капустной конвертируемой валюте) и вступит на борт самолёта, а затем сойдёт с трапа и сядет в автобус. И автобус довезёт его до центральной иерусалимской автобусной станции. Затем он сядет в другой автобус и выйдет недалеко от горы Скопус и, взойдя на неё, посмотрит вниз, на золочёное яйцо омаровой мечети в пепельной оправе Сулемановых стен. И посмотрев, проклянет великие, демократические и гуманные государства, богатых аллигаторов Запада, пожирателей своих и чужих, утверждающих, что они есть «город на горе» и «светоч мира». И прославит народы маленькие и подлые, которые несут миру рабство и смерть, великую попытку насилия над природой и человеческим естеством, великую идею воскресения и пирамидостроительства.

Она была обречена, обречена изначально, ибо земля – крошечная и провинциальная планетка, и род прямоходящих обезьян не нужен никому. И никогда не поднимутся из иерусалимских могил кости.

Эксперимент был обречён на неудачу, но всё же есть надежда: там, в крысиных норах мысли, среди отрывков и испражнений политических систем и перемешанных костей учений, будет шевелиться реакция. Она будет презираема, как и революция, ибо реакция и революция - дети одной матери; властители дум и проповедники прогресса увидят её личико и отшатнутся с брезгливым смехом: она принадлежит сумасшедшим, дебилам и злобным, закомплексованным недоноскам. Они будут уверены, что реакция обречена, но она будет копить золото и ненависть. И она встанет и призовет к рабству и пирамидостроительству и скажет, что обещает бессмертие только одному – владыке и тирану, да и то ценою миллионов жизней. И все они пойдут на смерть радостно и весело, ибо это одно воскресение будет залогом их надежды. Рамзес, идущий на смерть, приветствует тебя.

Но это будет потом, в зыбких проломах будущего, в не рождённых осклизлых комках времени, а сейчас (вечность есть вечное настоящее, улыбка и боль; пожелтевшие кости обмахиваем кисточкой археолога: он рисует паучьи иероглифы на жёлтом шёлке пыли) мы сидим на горе Скопус и пьём кофе.

«Ерошка» продолжает говорить мне про Америку. Он сообщает мне, что несколько его приятелей уже были там, набег на Брайтон был успешен: они выжгли пограничное село, изнасиловали их женщин и увели целое стадо отличных быков: видеотехнику и электроутюги. И всё это, знаете, удалось проташить через израильскую таможду беспрошлинно; всё это затем сбывли за шекели; шекели превратили в доллары, а доллары зашили в матрац. «Разве можно доверять израильским банкам? Разве можно кому-либо верить? Ты согласен?». Да, конечно я согласен, да был бы я на святой земле, если бы во что-то верил? Я знаю, что никому верить нельзя и твёрдо знаю, что ни одно из пророчеств не сбудется. Не зря везут из Бруклина сюда цинковые гробы, гробы

почтенных «Rabinwitch» and «Cohen», проживших свой пристойный век в уютных загородных коттеджах. Они исправно платят налоги и копят на колледж детишкам, дабы и их провести в евклидово измерение. Но всё кончается и рассыпается, крошится эвклидов мир: проходит судорога, и деловито-обычно пробегает филиппинка-медсестра (это хорошая специальность - всем, кто собирается в Америку, я советую жениться на медсёстрах: они находят работу всегда и везде, в Нью-Йорке и Северной Дакоте). Агония не оплачивается страховкой, а также священник или раввин; среднестатистическая смерть запланирована, это большой бизнес в большом городе; оприходование тела налажено-отмерено, как оприходование «гамбургеров» - это что-то вроде бутербродов, их можно оприходовать, заливая томатным соусом (он подаётся в удобных пакетиках) и голубым жидким сыром (он тоже подаётся в удобных пакетиках). Трупы отправляют в крематорий, потому что это гигиенично и потому, что земля очень дорогая в большом американском городе. Но иногда логика отказывает.

Труп зашивают в мешок, но он не верит, что он труп, и его либидо (свет потухшей звезды) требует невозможного: из-под сюртука, манишки, галстука и визитной карточки (JohnCohen (PND)) вылезает злобный старикан. Он пархат, паглат, не мылся с рождения и никогда никому не показывал визитных карточек. Старик Тертуллиан отмечает всю эвклидову американскую логику, и поэтому он и позволяет себя зашить в мешок и упаковать в свинцовый гроб, который затем заносят (носильщики - дюжие молодцы и члены профсоюза, кои защищают их права от капиталистов) в багажное отделение самолета.

Моторы режут безумным ревом умирающих ящеров: так, наверное, они ревели в день страшного суда, когда огненный небесный шар, врезавшись в землю, истребил их род до тла. Самолёт кружится над Манхэттеном - серые фаллосы скребут низко нависшие облака и летят на юго-восток. Самолёт опускается, и гроб выносится, и тоже, должно быть, здоровыми молодцами, защищаемыми профсоюзами, а затем грузится на машину, и она подъезжает к городу. Серо-пепельные стены Сулемана, а в центре золотое яйцо, и там по склонам (красная выветренная и выжженная намертво земля) жмутся, тиская друг друга, могильные плиты; иные уже рассыпались, выкрошились временем, но на их место вступают новые. Это очень дорого - быть похороненным в этих местах. В выбитую в щебне яму опустится гроб, и будет получена расписка, что гроб опущен, работа проделана, и не зря плачена конвертируемая валюта.

«Ты веришь в израильские банки?». Нет, конечно, я не верю, но всё-таки верю (язык не может вместить разорванной несовместимости мысли, верю, потому что без веры нельзя ходить по земле, нужно знать, что там, где облака - там небо, а там, где клозет - низ). Хотя давно уже, где-то лет пятьсот как доказано, что нет ни низа, ни верха, а есть бесконечный космос, в котором помещена маленькая песчинка земли. А посему я храню деньги в Израильском банке, он находится в здании университета. Толстая советская еврейка лениво пересчитывает мои зелёные доллары, перекладывая их на валютный счёт.

«Ты хочешь поехать в мою деревню?» - Спрашивает «Ерошка». Конечно, я хочу в друзскую деревню - боевую станицу, маленький островок феодализма в мире капитализма.

Можно ли построить феодализм или рабовладение в одной отдельно взятой стране? Можно ли раздавить гадину? Пусть же смеется продажно-похотливый старикан. Какая жалость, что он не дожил до свершения. Взлохмаченный, нечёсанный монах, грязный взъерошенный цыплёнок, он кричал в восторженно-суетливую толпу: «Мой бог! Ты будешь отомщён!».

Не радуйтесь, не бейте в тимпаны и не закатывайте глаза: «Неужто и Саул во пророках?».

Конвент осыпался депутатами, разбежавшимися кто куда, жены казнённых

аристократов и бывших якобинцев падали на колени перед золочёной роскошью восстановленных церквей, век просвещения и революций не знал женских трусов, а поэтому, когда они отбивали поклоны, задки выступали из-под отечественных тканей. Все спешили на поклон к первому консулу, продолжали скупать национальное имущество и лениво поругивали террор на балах.

Их было немного, верных якобинцев и монархистов. И те, и другие были обречены: все они защищали реакцию, гильотину, виселицы и ломание костей, и никто из них не признавал рынка, но все верили в бога и верховное существо, в то, что было абсурдом.

Прогресс неумолим: танки не доползли до центра, башни поворачивали стальные фаллосы, готовые извергнуть стальное семя, зачать смерть. Но не посмели, имитация власти, ликующие толпы, пламенные трибуны с балконов Смольного. Красное пятно расплывалось на белоснежной ткани тоги, Аларих идёт на Рим, белый мрамор крошится в ладони. Империя превращается в прошлое, трава пробивается из-под оплывших трупов холмов.

Быть может, через сотни лет (а что такое сотни лет для мировой истории?) ваши дети протянут руки к черенкам, они очистят холмы от земли и перегноя (это будут ваши трупы; свобода сгниёт, превратится в перегной времени, как всё в этом мире) и вынут из забытых могил черепа и утварь: истлевшую ржавчину проволоки и стальной брони, окаменевшие клыки тиранозавров и травоядных ящеров, дорическую колонну и катакомбы свиток и окинут взглядом мир: их мир будет среднестатистической, обеспечивающей себя государственностью. Они окинут взглядом улицы и толпу и скажут: и у нас была история, белое кипение майского сада: Друзили бежит с братом в радостную закатную зарю.

Или, может быть, да так оно и будет, всё забудется: равнодушно пройдёт турист, сплёвывая на мрамор слюни, жвачка прилипнет к подошвам. Разорванный целлофановый пакетик и баночка из-под Соса-Сола на мраморном надгробии. Усталое равнодушие туристов: «Господа, посмотрите налево – там был Форум; посмотрите направо – там был Палатин, а вот там далеко, но тем не менее можно увидеть (я арендную бинокль, это совсем не дорого) – арка Тита».

Ну, если так, то так тому и быть: мировая история, обеспечив напоследок большинство морковью и мытым картофелем, отлетит навсегда, может быть, на восток к вежливо-приниженным, но беспощадно злым в своём трудолюбии народам. Я верю, что тысячи лет строительства великих стен не прошли даром, и западные бациллы лишь скользнут по коже их исторического бытия, лишь закаляли их в злой самурайской свирепости. Может быть, (и хочется верить в это) расовая мудрость сплотит их, любовью или насилием, как было во времена Чингиза. Они не пойдут на запад - он далеко и ещё слишком опасен - но на север.

Они прокатятся по Евразии, вобрав в склизкий желудок интуристских блондинок и развалины церквей, а затем сожмутся для последнего броска на запад. «Панмонголизм - то слово дико, но мне ласкает слух оно».

«Мы завтра едем в деревню, к моим родителям. Моя girl friend тоже поедет. Ты не говори моим родителям про неё. Им очень не нравится, что я так долго живу с еврейкой, с американской еврейкой; они не любят американских евреек, они вообще не любят евреек, даже русских евреек. Хотя они очень милы».

«Ерошка» говорит «sweet», складывая губы трубочкой.

«Ты скажешь, что она твоя девушка». Я утвердительно мотаю головой и направляюсь к себе в комнатушку. Я засовываю дешёвую карамельку в рот и размышляю о гастрономических аспектах орального секса. Мысль не организована и неупорядочена (это написал недавно мой шеф о моей диссертационной главе). Я закрываю глаза и всасываю глюкозу в студенистую жижу серого вещества, насилие



должно состояться в узких пределах мелко-провинциального планетарного бытия.

Я вижу капитализм, феминистски строгий, в серой брючной паре, в очках в оправе и фарфоровой улыбке. В тёмном, загаженном подземелье Нью-Йоркского лифта пахнет мочой. Две трети жителей этой планеты пухнет с голоду: миллиарды сплетённых в тугие узлы, издыхающих от голода червей. Они не носят брючных пар, от них несёт сладковатым запахом отбросов, фекалий и пота.

Её крик не будет услышан, голод и отчаяние не обостряют слух. Двое будут держать её за руки и прижимать к стенке (лифт будет медленно нестись вверх в сияющем стеклом фаллосе Манхэттена). Бритва полоснёт по брюкам (отличное дорогое сукно; процветающий житель города не должен покупать одежду в дешёвых магазинах). Хлопчатые трусики (искусственный шёлк вреден для здоровья и окружающей среды) будут разрезаны. Её крик не будет услышан, как не слышен крик миллионов умирающих на этой земле ежеминутно. И, увидев всё, что произошло, великий тиранозавр Рекс зарычит, ибо то, что произошло, было справедливо.

А затем он оглянется. Я знаю, что вы не верите мне, но они будут первыми, кто подойдёт к нему, детёныши другого вида. Эти маленькие существа почти не заметны для него; но он опустит свою голову, закованную в панцирь шершавой кожи; стеклянные бусинки будут мёртво мерцать в глазницах. Он опустит голову, и с шумом втянет воздух, и приоткроет свою пасть. Страшное зловоние будет идти из влажного красного осклизлого зева, между зубами будет гнить мясо и застрянут размолотые кости: берцовая кость и тазовая, ребро и шейный позвонок. И конечно (вы, конечно, догадываетесь, мой любознательный и доверчивый читатель), конечно, глаза, широко раскрытые от невысказанного ужаса.

И малые дети, беспомощные детёныши человека, посмотрят ему прямо в глаза, стеклянно-мёртвые камни под нависшими складками кожи. И из открытой пасти выйдет язык: красный, плоский и шершавый, с множеством бугорков, помогающих затолкнуть упирающуюся добычу в глотку: он не всегда мог убить её сразу (особенно если заглатывал живой, и она иногда долго билась в сомкнутых намертво челюстях, царапая нёбо и не желая идти в утробу) и щенком лизнёт лицо детёныша человека. А затем он подымет свою голову к небу и, встав на задние ноги (а он будет выше всего того, что когда-либо создавал город), заревёт, и в этом рёве будет вся смертельная тоска всего живущего и дикая, необузданная похоть голода. И ужас охватит жителей джунглей: всех тех, кто верит в священные и незыблемые права, и они побегут, ломая кустарники и сплетённые лианы. А затем, когда он насытится (многие годы пройдут, прежде чем его чрево отяжелеет) он подымет голову к небу, к чёрному бархатному небу с белой пудрой звезд и заревёт.

Его мозг, безжалостно ловкий, почувствует смертное томление, сходное с любовным (он не знал любви, но лишь иногда насилывал самок своего вида). И он поймёт, что это приходит смерть: он захочет обратиться к кому-либо, но он будет один, один на всей планете, единственной, может быть, планете, где была жизнь. И наступит смерть. И его тело опустится на землю; и оно истлеет, и исчезнут роскошные тропические леса, переплетения лиан и ядовитых змей (спариваясь, они сплетаются в тугие узлы), бабочки с радужными крыльями, красные орхидеи с ядовитыми каплями на ворсистом лоне лепестка. Истлеет всё. И история кончится (не наша, человеческая, частный случай, одно из ничтожных звеньев цепи), а вся, вся земная история. Её заметут пески и снега холодной звёздной космической ночи; и её история, кости, замороженные в сланец и гранит, не будут нужны никому.

Я открываю глаза. Ночь прошла, чёрная правда растаяла и бросила в окно огненную стрелу. Жалобно звякнуло стекло. Ерошка стоял, рядом стояла Сара, глаза её блестели от ночи любви и утренней зари, небо было пепельно-голубым и светилось изнутри незлым светом. Сердце джипа гудело радостным нетерпением, он ждал приказа.

Ерошка сел за руль на переднем сиденье, я оказался на заднем; Сара села со мной, мы с трудом втиснулись. Я чувствовал её тело под лёгким платьицем; её глаза горели, жизнь была рядом, много жизни, и она была жива: она смотрела вперёд. Я смотрел в окно: по стеклу полз жук - коричневые крылышки, красная головка, усики; он полз по прозрачному стеклу, и его лапки за что-то цеплялись, где-то находили опору. И он хотел взлететь: он судорожно подымал крылышки (под ними были другие, белесые, призрачно-беззащитные). Я смотрел на него с жадностью: нам осталось жить всего несколько миллиардов лет.

Мне хорошо. Почему хорошо, я не знаю, а кому толк от этого знания? За тысячу лет своего бытия человечество открыло, что оно знает, что ничего не знает. Мне хорошо потому, что мне ещё только немного за тридцать и потому, что со мной сидит юная иудейка, её колено касается моего, глаза горят. Вовсе не потому, что я ей нравлюсь, а просто потому, что так положено.

Машина летит сквозь серые приземлённые домишки колониальной дыры турецкого владычества, приниженный подневольный галут, а рядом пронырливые автобусы несут жителей на трудовую вахту жизни.

Город Иерусалим, центр мироздания, венец творения. Долгоутомительное шествие с галута на вершину эволюции, неосознанная глупость материи (она гарантирует каждому лёгкость смерти), и, наконец, он является в душной плаценте третичного леса. Он открывает рот, втягивает губами банановую мякоть. Он осторожен, но соскальзывает со ствола вниз и озирается в трусливой осторожности по сторонам. Его уши напряжены, он не верит глазам своим, да много и не увидишь в этих сплетениях зелёных глянцевого жгутов. Он прислушивается к шорохам леса, писку пташек и дожёвывает банан: его челюсти ходят медленно и тяжело, крепкие зубы перемалывают мякоть в жидкую кашу. Ему нужно есть много и каждый день, так решила природа, этим он отличается от хищников - саблезубых тигров, например, с рыжеватой шкурой.

Он дожевал банан, прислушиваясь к шороху леса, рядом стояла на четвереньках самка. Она стояла на четвереньках, ибо так было принято у всех животных леса. Её груди с коричневыми сосками болтались, руки и ноги (а тогда она, собственно, не знала, чем руки отличаются от ног) крепкие, покрыты шерстью, в них прыгают блошки, и им нет дела до неё. Он вскакивает на неё, хрюкнув от наслаждения; уши его продолжают настороженно дыбиться. Самка зачинает, стоя на четвереньках, ибо так зачинают четвероногие джунглей, она не выделяет себя из них. Пройдёт совсем немного времени, какая-то секунда на космических часах, и шерсть сойдёт с её ног; груди порозовеют, и она начнёт зачинать, лёжа на постели, и самец будет говорить ей разные слова. В этот самый момент у них появится страх смерти, и её охватит любовное томление. Они выйдут к тому времени из джунглей, и небо, чёрное, бездонное и странное в своей бездонности откроется им, и губы их вдруг зашепчут «Барух ата».

Иерусалим кончается сразу, неожиданно быстро; он оказывается такой, вообще, маленький, незначительный городишко.

Красные злые пески обступили нас со всех сторон, но было ещё утро, и красные злые губы кривились розовой улыбкой. А затем горы пошли вверх, позеленели зелёным кустарником, и мы въехали в деревню.

Каменные добротные дома стояли рядом, на улице с котёнком играли черноголовые дети. Я подхожу к ним со стандартной американской улыбкой, они с криком разбегаются, оставляя мне добычу: маленькое слепое, ползучее существо; оно тычется мне мордочкой в ладонь.

Ерошка проводит меня в дом.

В большой комнате женщины в чёрных платьях, согнувшись, мычат что-то в большом тазу; они радостно отдаются рабству работы. В другой комнате лежит парень; он обнажён до пояса. При появлении нас он вскакивает и говорит что-то на

арабском. «Он был в Ливане. Ранили» - говорит Ерошка. Парень стягивает с себя рубаху – молодое, сильное тело, отличное тело для любви и войны. В комнату заходит другой человек, маленький и даже немного неуклюжий, он с улыбочкой садится на стульчик. Мы смотрим друг на друга: нам странен, непонятен другой. Пришелец с иного звёздного измерения, из клубящегося праха миллиардно звёздной пыли, он, быть может, есть лишь лёгкое мимолетное дуновение ветерка иного, нам неведомого измерения.

Ерошка объясняет мне: «Он - офицер израильской армии, профессиональный военный, он тренирует командос». Я ещё раз смотрю на его жирненькое ухмыляющееся личико. «У тебя были русские?». «Да, конечно». «Как они?». «Да, ничего, как все, есть отличные ребята».

Нас приглашают на веранду. Библейские ветки виноградных гроздьев; но плетение лозы не густо, и легко можно увидеть в просвете крупные южные звёзды неба.

Веет ветром с гор. Женщины, сутулясь и стесняясь своего присутствия, разносят кофе.

Рядом со мной сидит Ерошка, его girl friend, малый с ухмылочкой и два старика. Старики прихлёбывают кофе и вспоминают о том, как всё было при турках, англичанах и евреях. Их разговор степенен и нетороплив. Я сижу в кресле-качалке, лениво прихлёбываю кофе и смотрю на просвечивающие сквозь плетения лоз звёзды. В голове лениво шуршит страницами Константин Леонтьев, ефрейтор Шикльгрюбер, Сувчинский, Николай Фёдоров и, конечно, Книга Книг: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец...».

Всякая мысль с неизбежностью упиралась в метафизику; нет, вовсе не в проблему личного воскресения, а в другое - в судьбу рода человеческого, в судьбу этого белесого праха. «Что есть этот большой взрыв? А что было до него? Если этот видимый мир конечен, то что за этим миром? А что такое «после» и «до»? «Я есть альфа и омега, начало и конец». Звёздный прах клубится в просветах виноградных лоз.

Старики продолжают между тем вести неторопливый разговор, говоря, что при турках было лучше. Смерть человека не есть трагедия; она лишь свидетельство иной, родовой, а может, и мировой смерти. Великая мистика, мистика мира никогда не будет познана нами. Не познают её и те, кто, может, последуют за нами, новые существа, порождённые человеком, чтобы последовать ему. Мы живём лишь мгновения на часах этого звёздного праха: мы вертим головой, мы знаем себя и называем это мировой историей. Это наша история, описания касриловки. Мы немного знаем, что было за нами, рыб в зелёном стекле океанов, ящеров, волочащих хвосты по илистому дну лагуны. Но за этим мы не знаем ничего. Не узнают и те, кто последуют за нами, а если и узнают, то откроется им какая-то иная, быть может, ещё более страшная правда. Мы не можем знать этого мира, но лишь чувствовать его. Музыка - свидетельство чего-то невидимого.

Мы допиваем кофе, и появляются женщины. Они в тех же чёрных платьях. Услужливо склонив голову, они говорят, что постель приготовлена. Прежде, чем отойти ко сну, Ерошка сообщает мне, что завтра мы направимся на свадьбу. Меня осторожно берут за руки и ведут в комнату, широкий матрас должен послужить мне ложем.

Утром мы направляемся в центр посёлка: мы приглашены на свадьбу. Мы видим процессию. Древне-гомеровский обряд. Идут асакалы в чёрных бурнуссах и папах с красным верхом, а за ними какие-то нестройные ряды родственников и знакомых. Невеста с женихом впереди, и я просто не вижу их; Ерошка говорит мне, что они тоже в чёрном с украшениями: многочисленными монистами, должно быть, брякающими на ней, как на уздечке. Я смотрю на мир. Он не знает полутонов: синее, глянцевое, полированное небо, чёрные краски одежды и красный верх шапок. Промежуточных тонов нет, всё эпически гомеровско-библейско просто: смерть и жизнь. А поэтому

копъё, пущенное сильной рукой, пробивает панцирь, кровавая пена выступает на губах; еврейка чувствуют этот мир, такой ясный и простой, и её рука сцепляется с ладонью Ерошки. Её глаза горят от понимания какой-то простой истины. Ей страшно и покойно одновременно, она смотрит попеременно то на меня, то на Ерошку, то на глянцевою звонкость неба: чёрный коршун то взмывает вверх, то падает на крыло.

Ерошка машет рукой, и мы направляемся на свадебную трапезу. На грубо сколоченных досках какая-то варварская, антисанитарная роскошь: куски жареной баранины и курятины под кучей зелени и какой-то лоснящийся жиром рис с куском баранины; над ними кружатся тысячи мух, их почти никто не отгоняет, и они садятся на мясо, вращая зелёно-чешуйчатыми глазками.

Воля к жизни, именуемая нами «инстинктом», размышляет о жизни и безопасности, но это лишь иллюзия индивидуального самосохранения. По большому счёту, природе, или, вернее, ничтожной моей части природы, которая размышляет о земле, о её мелко-провинциальных играх, нужен вид. Инстинкт правит и родом человеческим, но мы называем это разумом.

Несколько рук хватают лоснящуюся массу, сминая её в катыши, и отправляют в рот. Я не отстаю от других, а затем хрущу какой-то травкой.

Отяжелев, мы поднимаемся из-за стола, благодарим хозяев за угощение и направляемся на прогулку. Ерошкина еврейка следует за нами. Мы неторопливо шествуем, хрустя гравием по улице среди добротных каменных домов.

«Ты посмотри на эту деревню, эту друзскую деревню. Большая часть её жителей служит в израильской армии, это профессиональные военные. А почему, скажи мне, денег на благоустройство эта деревня получает в три раза меньше, чем еврейская?». Я не отрицаю того, что справедливости нет и не будет. «Я служу в армии, но нет в ней ни одного друзского генерала. Это несправедливо».

В это время, валькириисто гудя, стая серых стальных птеродактилей несётся на север.

Это наши родные птеродактили, чернокудрые Зигфриды сжимают их штурвалы, когда коршунами Моссата они, сделав круг над рифлёным красным песком, освещённым голливудским юпитером солнца, падают на крыло.

Они - наши родные птеродактили, потому что в нашем мире, на крошечной земной планетёнке, в ту краткую, никем не различаемую секунду, что именуется жизнью, в небе, в звонко-синем небе Иудеи может быть только два типа летающих существ: «наши птеродактили» и «не наши». Это наш птеродактиль, но он несёт смерть. Ещё немного, и из серого брюха выдвинется и замрёт в ожидании приказа серо-зелёный фаллос, чтобы оторваться и полететь на землю, а затем брюхо откроется, и металлические фекалии посыплются на квадратики полей и игрушечные домики. Это наши птеродактили, и Ерошка понимает это, поэтому он ненавидит их, как и тех, в кого он стрелял. Он подходит к обрыву – там, внизу, в другом измерении стелется аметистовая дымка и уходят куда-то за горизонт холмы, и кричат весело и звонко, от избытка молодости и силы, на всех языках, ему известных: «Я ненавижу всех вас!».